Федор Достоевский

Маленькие картинки

Часть сборника
Записки из мертвого дома. Рассказы

Федор Михайлович Достоевский
Маленькие картинки

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172619
Записки из мертвого дома: Эксмо; Москва; 2005
ISBN 5-699-14041-1

Аннотация

«Лето, каникулы; пыль и жар, жар и пыль. Тяжело оставаться в городе. Все разъехались. На днях принялся было за перечитывание накопившихся в редакции рукописей… Но о рукописях после, хотя о них есть что сказать. Хочется воздуха, воли, свободы; но вместо воздуха и свободы бродишь один без цели по засыпанным песком и известкой улицам и чувствуешь себя как бы кем-то обиженным – право, ощущение как будто похожее. Известно, что половина горя долой, лишь бы подыскать кого-нибудь виноватого в нем перед вами, и тем досаднее, если подыскать решительно некого…»

Содержание

1	4
2	11
3	15

Федор Михайлович Достоевский
Маленькие картинки

1

Лето, каникулы; пыль и жар, жар и пыль. Тяжело оставаться в городе. Все разъехались. На днях принялся было за перечитывание накопившихся в редакции рукописей… Но о рукописях после, хотя о них есть что сказать. Хочется воздуха, воли, свободы; но вместо воздуха и свободы бродишь один без цели по засыпанным песком и известкой улицам и чувствуешь себя как бы кем-то обиженным – право, ощущение как будто похожее. Известно, что половина горя долой, лишь бы подыскать кого-нибудь виноватого в нем перед вами, и тем досаднее, если подыскать решительно некого…

На днях переходил Невский проспект с солнечной стороны на теневую. Известно, что Невский проспект переходишь всегда с осторожностью, не то мигом раздавят, – лавируешь, присматриваешься, улучаешь минуту, прежде чем пуститься в опасный путь, и ждешь, чтобы хоть капельку расчистилось от несущихся один за другим, в два или три ряда, экипажей. Зимой, за два, за три дня перед Рождеством, например,

переходить особенно интересно: сильно рискуете, особенно если белый морозный туман с рассвета опустится на город, так что в трех шагах едва различаешь прохожего. Вот проскользнул кое-как мимо первых рядов карет и извозчиков, несущихся в сторону Полицейского[1] моста, и радуешься, что уже не боишься их; топот и грохот и сиплые окрики кучеров остались за вами, но, однако, и некогда радоваться: вы только достигли середины опасного перехода, а дальше – риск и полная неизвестность. Вы быстро и тревожно осматриваетесь и наскоро придумываете, как бы проскользнуть и мимо второго ряда экипажей, несущихся уже в сторону Аничкова моста. Но чувствуете, что и думать уж некогда, и к тому же этот адский туман: слышны лишь топот и крики, а видно кругом лишь на сажень. И вот вдруг внезапно раздаются из тумана быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые звуки, страшные и зловещие в эту минуту, очень похожие на то, как если бы шесть или семь человек сечками рубили в чане капусту. «Куда деваться? Вперед или назад? Успею или нет?» И – благо вам, что остались: из тумана на расстоянии лишь одного шагу от вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего рысака, бешено несущегося со скоростию железнодорожного курьерского поезда – пена на удилах, дуга на отлете, вожжи натянуты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают по са-

---

[1] *Полицейский* (ныне Народный) *мост*– мост через реку Мойку на Невском проспекте в Петербурге.

жени. Один миг, отчаянный окрик кучера, и – всё мелькнуло и пролетело из тумана в туман, и топот, и рубка, и крики – всё исчезло опять, как видение. Подлинно петербургское видение! Вы креститесь и, уже почти презирая второй ряд экипажей, так пугавший вас за минуту, быстро достигаете желанного тротуара, еще весь дрожа от перенесенного впечатления и – странно – ощущая в то же время неизвестно почему и какое-то от него удовольствие, и вовсе не потому, что избегли опасности, а именно потому, что ей подвергались. Удовольствие ретроградное, я не спорю, и к тому же в наш век бесполезное, тем более что надо бы было, напротив, протестовать, а не ощущать удовольствие, ибо рысак в высшей степени не либерален, напоминает гусара или кутящего купчика, а стало быть, неравенство, нахальство, la tyrannie[2] и т. д. Знаю и не спорю, но теперь я хочу лишь докончить. Итак, на днях с привычною зимнею осторожностию стал было я переходить через Невский проспект и вдруг, очнувшись от задумчивости, в удивлении остановился на самой середине перехода: никого-то нет, ни одного экипажа, хоть бы какие-нибудь дребезжащие извозчичьи дрожки! Место пусто сажен на пятьдесят в обе стороны, хоть остановитесь рассуждать с приятелем о русской литературе – до того безопасно! Даже обидно. Когда это бывало?

Пыль и жар, удивительные запахи, взрытая мостовая и перестраивающиеся дома. Всё больше отделывают фасады со

---

[2] деспотизм *(фр.)*.

старого на новое, для шику, для характеристики. Удивительна мне эта архитектура нашего времени. Да и вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня – именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за всё время существования. Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нем разве только вот эти деревянные, гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах рядом с громаднейшими домами и вдруг поражающие ваш взгляд, словно куча дров возле мраморного палаццо. Что же касается до палаццов, то в них-то именно и отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого начала его до конца. В этом смысле нет такого города, как он; в архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод; всё постепенно заимствовано и всё по-своему перековеркано. В этих зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех идей и идеек, правильно или внезапно залетавших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и полонивших. Вот бесхарактерная архитектура церквей прошлого столетия, вот жалкая копия в римском стиле начала нашего столетия, а вот и эпоха Возрождения и отысканный будто бы архитектором Тоном[3] в прошлое царствование тип

[3] *Тон* Константин Андреевич (1794–1881) – любимый архитектор Николая I, стремившийся создать парадный «русский стиль», соответствующий духу николаевской империи, с широким применением форм древнерусского и византийского зодчества.

древнего византийского стиля. Вот затем несколько зданий – больниц, институтов и даже дворцов первых и десятых годов нашего столетия, – это стиль времени Наполеона[4] Первого – огромно, псевдовеличественно и скучно до невероятности, что-то натянутое и придуманное тогда нарочно, вместе с пчелами на наполеоновской порфире, для выражения величия вновь наступившей тогда эпохи и неслыханной династии, претендовавшей на бесконечность. Вот потом дома, или почти дворцы, иных наших дворянских фамилий, но гораздо позднейшего времени. Это уж на манер иных итальянских палаццо или не совсем чистый французский стиль дореволюционной эпохи.[5] Но там, в венецианских или римских палаццо, отжили или еще отживают жизнь свою целые поколения древних фамилий, одно за другим в течение столетий. У нас же поставили наши палаццы всего только в прошлое царствование, но тоже, кажется, с претензией на столетия: слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, однако же, всё это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождения крестьян…

---

[4] …*стиль времени Наполеона* … – Стиль ампир, который пользовался монументальными формами архитектуры Древнего Рима для возвеличения империи Наполеона I. Порфиру (пурпуровую мантию, императорскую регалию, одеваемую на придворных церемониях) Наполеона I украшали золотые пчелы – специально придуманный им герб, указывавший на многочисленность его династии.

[5] …*французский стиль дореволюционной эпохи*. – Смесь классицизма и рококо.

Мне очень грустно будет, если когда-нибудь на этих палаццах прочту вывеску трактира с увеселительным садом или французского отеля для приезжающих. И, наконец, вот архитектура современной, огромной гостиницы – это уже деловитость, американизм, сотни нумеров, огромное промышленное предприятие: тотчас же видно, что и у нас явились железные дороги и мы вдруг очутились деловыми людьми. А теперь, теперь… право, не знаешь, как и определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберности настоящей минуты. Это множество чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов под жильцов, чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо выстроенных, с изумительною архитектурою фасадов: тут и Растрелли,[6] тут и позднейшее рококо,[7] дожевские балконы[8] и окна, непременно оль-де-бефы[9] и непременно пять этажей, и все это в одном и том же фасаде. «Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь неотменно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа; ну а пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать; окно окном, а этажи чтобы этажами; не могу же я

---

[6] *Растрелли* (Франческо Бартоломео) (1700–1771) – выдающийся архитектор, итальянец по происхождению, строитель Зимнего дворца и других парадных зданий в Петербурге и его пригородах.

[7] *Рококо* (от фр. rocaille – похожий на раковину) – легкий и изысканный стиль в архитектуре и изобразительном искусстве конца XVIII в.

[8] *…дожевские балконы*. – По образцу дворца дожей в Венеции.

[9] *Оль-де-беф* (фр. oeil de boeuf – бычий глаз) – круглое или овальное окно.

из-за игрушек всего нашего капиталу решиться». Впрочем, я не петербургский фельетонист и не об том совсем заговорил. Начал об редакционных рукописях, а свел на чужое дело.

2

Пыль и жар. Говорят, для оставшихся в Петербурге открыто несколько садов и увеселительных заведений, где можно «подышать» свежим воздухом. Не знаю, есть ли там чем подышать, но я нигде еще не был. В Петербурге лучше, душнее, грустнее. Ходишь, созерцаешь, один-одинешенек – это лучше, чем свежий воздух увеселительных петербургских садов. К тому же и в городе открылось вдруг множество садов, там, где их вовсе не подозревали. Почти на каждой улице встретите теперь, при входе в какие-нибудь ворота, иногда заваленные известкой и кирпичом, надпись «Вход в сад трактира». Там, на дворе, где-нибудь перед старым флигельком был лет сорок назад отгорожен какой-нибудь палисадник, шагов десяти длиною и пяти шириною; ну вот это-то и есть теперь «сад трактира». Скажите, отчего в Петербурге гораздо грустнее по воскресениям, чем в будни? От водки? От пьянства? Оттого что пьяные мужики валяются и спят на Невском проспекте среди белого… вечера, как я сам это видел? Не думаю. Гуляки из рабочего люда мне не мешают, и я к ним, оставшись теперь в Петербурге, совсем привык, хотя прежде терпеть не мог, даже до ненависти. Они ходят по праздникам пьяные, иногда толпами, давят и натыкаются на людей – не от буянства, а так, потому что пьяному нельзя не натыкаться и не давить; сквернослo-

вят вслух, несмотря на целые толпы детей и женщин, мимо которых проходят, – не от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя иметь другого языка, кроме сквернословного. Именно это язык, целый язык, я в этом убедился недавно, язык самый удобный и оригинальный, самый приспособленный к пьяному или даже лишь к хмельному состоянию, так что он совершенно не мог не явиться, и если б его совсем не было – il faudrait l'inventer.[10] Я вовсе не шутя говорю. Рассудите. Известно, что в хмелю первым делом связан и туго ворочается язык во рту, наплыв же мыслей и ощущений у хмельного, или у всякого не как стелька пьяного человека, почти удесятеряется. А потому естественно требуется, чтобы был отыскан такой язык, который мог бы удовлетворять этим обоим, противоположным друг другу состояниям. Язык этот уже спокон веку отыскан и принят во всей Руси. Это просто-запросто название одного нелексиконного существительного, так что весь этот язык состоит из одного только слова, чрезвычайно удобно произносимого. Однажды в воскресение, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немно-

---

[10] *…il faudrait I'inventer* (фр.) – его надо было бы выдумать – усеченная цитата ставших нарицательными известных слов из послания Вольтера «Автору книги о трех обманщиках» (1709): «Если бы бога не было, его надо было бы выдумать».

госложного. Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить об чем-то, об чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле – именно в смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле, что, дескать, что ж ты так, парень, влетел? мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся – лезешь Фильку ругать! И вот всю эту мысль он проговорил тем же самым одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве только что поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге приподымая руку, кричит… Эврика, вы думаете? Нашел, нашел? Нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения, и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню, это не «показалось», и он ми-

гом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом… да все то же самое запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: «Чего орешь, глотку дерешь!» Итак, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне. Это факт, которому я был свидетелем. «Помилуйте! – закричал я им вдруг, ни с того ни с сего (я был в самой середине толпы). – Всего только десять шагов прошли, а шесть раз (имя рек) повторили! Ведь это срамеж! Ну, не стыдно ли вам?»

Все вдруг на меня уставились, как смотрят на нечто совсем неожиданное, и на миг замолчали; я думал, выругают, но не выругали, а только молоденький паренек, пройдя уже шагов десять, вдруг повернулся ко мне и на ходу закричал:

– А ты что же сам-то семой раз его поминаешь, коли на нас шесть разов насчитал?

Раздался взрыв хохота, и партия прошла, уже не беспокоясь более обо мне.

3

Нет, я не про этих гуляк говорю, и не от них мне так особенно грустно по воскресениям. Я недавно с большим удивлением открыл, что есть в Петербурге мужики, мещане и мастеровые совершенно трезвые, совсем ничего не «употребляющие» даже и по воскресениям; и не это собственно меня удивило, а то, что их несравненно, кажется, больше, чем я предполагал до сих пор. Ну вот на этих-то мне смотреть еще грустнее, чем на пьяных гуляк, и не то чтоб от сострадания к ним; вовсе нет и причины им сострадать; а так приходит в голову всё какая-то странная мысль… По воскресениям к вечеру (по будням их совсем не видать) очень много этого всю неделю занятого работою, но совершенно трезвого люда выходит на улицы. Выходит именно погулять. Я заметил, что на Невский они никогда не заходят, а так всё больше прохаживаются около своих же домов или идут «прохладно», возвращаясь с семействами откудова-нибудь из гостей. (Семейных мастеровых тоже, кажется, очень в Петербурге много.) Идут они степенно и с ужасно серьезными лицами, точно и не на прогулке, очень мало разговаривая друг с другом, особенно мужья с женами, почти совсем молча, но всегда разодетые по-праздничному. Наряды плохи и стары, на женщинах пестры, но всё вычищено и вымыто к празднику, нарочно, может быть, к этому часу. Есть которые и в русских платьях,

но много и в немецких и бреющих бороду. Досаднее всего, что они, кажется, действительно и серьезно воображают, что, этак прохаживаясь, доставляют себе несомненное воскресное удовольствие. Ну какое бы, кажется, удовольствие на этой широкой, оголенной, пыльной улице, пыльной еще после заката солнца? То-то и есть, что им и это кажется раем; всякому, значит, свое.

Очень часто они с детьми; детей тоже очень много в Петербурге, а еще говорят, что они в нем ужасно как мрут. Все эти дети, как я заметил, большею частью всегда почти маленькие, первого возраста, едва ходят или совсем еще не умеют ходить; не потому ли и так мало детей постарше, что не доживают и умирают? Вот замечаю в толпе одинокого мастерового, но с ребенком, с мальчиком, – одинокие оба, и вид у них у обоих такой одинокий. Мастеровому лет тридцать, испитое и нездоровое лицо. Он нарядился по-праздничному: немецкий сюртук, истертый по швам, потертые пуговицы и сильно засалившийся воротник сюртука; панталоны «случайные», из третьих рук с толкучего рынка, но все вычищено по возможности. Коленкоровая манишка и галстух, шляпа цилиндр, очень смятая, бороду бреет. Должно быть, где-нибудь в слесарной или чем-нибудь в типографии. Выражение лица мрачно-угрюмое, задумчивое, жестокое, почти злое. Ребенка он держит за руку, и тот колыхается за ним, кое-как перекачиваясь. Это мальчик лет двух с небольшим, очень слабенький, очень бледненький, но одет в кафтанчик,

в сапожках с красной оторочкой и с павлиньим перышком на шляпе. Он устал; отец ему что-то сказал, может быть, просто сказал, а вышло, что как будто прикрикнул. Мальчик притих. Но прошли еще шагов пять: и отец нагнулся, бережно поднял ребенка, взял на руки и понес. Тот привычно и доверчиво прильнул к нему, обхватил его шею правой ручкой и с детским удивлением стал пристально смотреть на меня: чего, дескать, я иду за ними и так смотрю? Я кивнул было ему головой и улыбнулся, но он нахмурил бровки и еще крепче ухватился за отцовскую шею. Друзья, должно быть, оба большие.

Я люблю, бродя по улицам, присматриваться к иным совсем незнакомым прохожим, изучать их лица и угадывать: кто они, как живут, чем занимаются и что особенно их в эту минуту интересует. Про мастерового с мальчиком мне пришло тогда в голову, что у него, всего только с месяц тому, умерла жена и почему-то непременно от чахотки. За сироткой-мальчиком (отец всю неделю работает в мастерской) пока присматривает какая-нибудь старушонка в подвальном этаже, где они нанимают каморку, а может быть, всего только угол. Теперь же, в воскресение, вдовец с сыном ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую, к какой-нибудь единственной оставшейся родственнице, всего вернее к сестре покойницы, к которой не очень-то часто ходили прежде и которая замужем за каким-нибудь унтер-офицером с нашивкой и живет непременно в каком-нибудь огромнейшем казенном

доме, и тоже в подвальном этаже, но особнячком. Та, может быть, повздыхала о покойнице, но не очень; вдовец, наверно, тоже не очень вздыхал во время визита, но всё время был угрюм, говорил редко и мало, непременно свернул на какой-нибудь деловой специальный пункт, но и о нем скоро перестал говорить. Должно быть, поставили самовар, выпили вприкуску чайку. Мальчик всё время сидел на лавке в углу, хмурился и дичился, а под конец задремал. И тетка и муж ее мало обращали на него внимания, но молочка с хлебцем наконец-таки дали, причем хозяин унтер-офицер, до сих пор не обращавший на него никакого внимания, что-нибудь сострил про ребенка в виде ласки, но что-нибудь очень соленое и неудобное, и сам (один, впрочем) тому рассмеялся, а вдовец, напротив, именно в эту минуту строго и неизвестно за что прикрикнул на мальчика, вследствие чего тому немедленно захотелось аа, и тут отец уже без крику и с серьезным видом вынес его на минутку из комнаты… Простились так же угрюмо и чинно, как и разговор вели, с соблюдением всех вежливостей и приличий. Отец сгреб на руки мальчика и понес домой, с Выборгской на Литейную.[11] Завтра опять в мастерскую, а мальчик к старушонке. И вот ходишь-ходишь и все этакие пустые картинки и придумываешь для своего развлечения. Никакого в этом нет толку, и «ничего поучитель-

---

[11] *…с Выборгской на Литейную*. – Выборгская сторона – район Петербурга на правом берегу Невы; в XIX в. – окраина, населенная заводскими людьми; Литейная улица (ныне – проспект) и прилегавшая к ней Литейная часть – на противоположном, левом берегу Невы.

ного нельзя извлечь». Оттого и берет хандра по воскресениям, в каникулы, на пыльных и угрюмых петербургских улицах. Что, не приходило вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть на свете!

Правда, и в будни выносят детей во множестве, но по воскресениям к вечеру их является на улицах чуть не вдесятеро более. Какие все испитые, какие бледные, худосочные, малокровные и какие у них угрюмые личики, особенно у тех, которые еще на руках; а те, которые уже ходят, – все с кривыми ножками и все на ходу сильно колыхаются из стороны в сторону. Почти все, впрочем, тщательно приодеты. Но, боже мой, ребенок что цветок, что листок, завязавшийся весною на дереве: ему надо свету, воздуху, воли, свежей пищи, и вот вместо всего этого душный подвал с каким-нибудь квасным или капустным запахом, страшное зловоние по ночам, нездоровая пища, тараканы и блохи, сырость, влага, текущая со стен, а на дворе – пыль, кирпич и известка.

Но они любят своих бледных и худосочных детей. Вот маленькая трехлетняя девочка, хорошенькая и в свежем платьице, спешит к матери, которая сидит у ворот в большом обществе, сошедшемся со всего дома часок-другой поболтать. Мать болтает, но глазом наблюдает ребенка, играющего от нее в десяти шагах. Девочка нагнулась что-то поднять, какой-то камушек, и неосторожно наступила на свой подол ножками и вот никак распрямиться не может, раза два по-

пробовала, упала и заплакала. Мать приподнялась было к ней на помощь, но я поднял девочку раньше. Она выпрямилась, быстро и любопытно на меня посмотрела, еще со слезинками на глазах, и вдруг бросилась, немного в испуге и в детском смущении, к матери. Я подошел и учтиво осведомился, сколько девочке лет; мать приветливо, но очень сдержанно мне ответила. Я сказал, что и у меня такая же девочка;[12] на это уже не последовало ответа: «Может, ты и хороший человек, – молча глядела на меня мать, – да только что ж тебе тут стоять, проходил бы мимо». Вся разговорившаяся публика тоже затихла и тоже как будто это же самое думала. Я притронулся к шляпе и прошел мимо.

Вот другая девочка на бойком перекрестке отстала от матери, которая до сих пор ее вела за руку. Правда, бабенка вдруг увидела шагах в пятнадцати от себя товарку, пришедшую ее навестить, и, надеясь, что ребенок знает дорогу, бросила его ручку и пустилась бегом встречать гостью, но ребенок, оставшийся вдруг один, испугался и закричал, в слезах догоняя мать.

Седой и совсем незнакомый прохожий мещанин с бородой вдруг останавливает на дороге незнакомую ему бегущую женщину и схватывает ее за руку:

– Чего разбежалась! Вишь, ребенок сзади кричит; так нельзя; испужаться может.

---

[12] *Я сказал, что у меня такая же девочка …* – Вторая дочь писателя, Любовь Федоровна, родившаяся в 1869 г.

Бабенка хотела что-то бойко ему возразить, но не возразила, одумалась; безо всякой досады и нетерпения взяла на руки добежавшую к ней девочку и уже чинно пошла к своей гостье. Мещанин строго выждал до конца и направился своей дорогою.

Пустые, самые пустые картинки, которые даже совестно вносить в дневник. Впредь постараюсь быть гораздо серьезнее.